

Советская ведомственность и проблема сложности советского государства



Игорь Николаевич Стась (р. 1989) — историк, урбанист, старший научный сотрудник Центра урбанистики Тюменского государственного университета, руководитель магистратуры «Концептуальная урбанистика».

Дискуссия вокруг книги «Советская ведомственность» неожиданно вывела на первый план не столько проблему самой ведомственности, сколько вопрос о сложности советского государства. Практически все участники обсуждения в той или иной степени говорят об этом. Кажется, при всех различиях позиций их объединяет одна общая интенция: СССР не может быть описан как единый и однородный субъект. В этом смысле дискуссия во многом резонирует с главным замыслом самой книги: посмотреть на советскую историю через отношения, которые складывались вокруг ведомств, и тем самым предложить иной взгляд на устройство советского государства. Ведомственный подход является попыткой описать СССР не как централизованную и иерархическую систему, внутри которой существуют отдельные ведомства, а как запутанную совокупность ведомственных миров, постоянно взаимодействующих между собой, с партией, советскими органами власти, общественными организациями или различными социальными группами.

Именно поэтому многие комментарии оппонентов касаются не конкретных сюжетов книги, а самого статуса ведомственного подхода. Одни авторы сомневаются в аналитическом потенциале понятия «ведомственность» либо считают его слишком широким. Другие предлагают ограничить ведомственность отдельными механизмами. Третьи призывают более четко развести ведомственность и другие формы организации советской экономики. Все эти замечания являются важными и продуктивными. Однако они требуют возвращения к исходному исследовательскому вопросу: что ведомственный подход позволяет увидеть в советской истории и каким образом он помогает говорить о сложности советского государства?

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПОДХОД КАК ОБЪЯСНЕНИЕ ВСЕГО СОВЕТСКОГО

ИГОРЬ СТАСЬ
СОВЕТСКАЯ
ВЕДОМСТВЕННОСТЬ
И ПРОБЛЕМА СЛОЖНОСТИ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Одной из наиболее распространенных реакций на книгу было опасение, что ведомственный подход претендует на объяснение всего, что происходило в Советском Союзе. Действительно, в монографии оптика ведомственности используется весьма широко: применительно и к системам управления, и к материальным инфраструктурам, и к социальным практикам, и к публичным дискурсам. Отсюда возникает закономерное сомнение: где заканчивается советская ведомственность и не превращается ли она в универсальную категорию, которая обозначает практически советское вообще?

Так, Михаил Михеев отмечает, что определение ведомственности, которое дается в книге, оказывается чрезмерно общим и фактически совпадает с определением государственного управления в целом. В качестве альтернативы он предлагает интерпретировать ведомственность прежде всего в качестве эффекта отраслевого принципа организации советской экономики. Ведомственность в таком случае появляется тогда, когда отраслевые органы управления начинают отстаивать собственные интересы в ущерб государственным. Подобная интерпретация хорошо известна историкам и является наиболее распространенной в историографии. Но здесь заявляет о себе проблема исторического контекста. Историки, определяющие ведомственность исключительно через отраслевую борьбу, зачастую воспроизводят именно позднесоветское понимание термина. Особенно активно подобная трактовка утверждалась в период реформ Никиты Хрущева, чья критика ведомственности относилась к деятельности отраслевых министерств и ей противопоставлялся территориальный принцип управления.

Но если обратиться непосредственно к публичному дискурсу, отраженному в первую очередь в советской печати, то видно, что современники использовали это понятие значительно свободнее. Во второй главе книги было показано, что общественная и политическая критика ведомственности не ограничивалась отраслевым управлением. Примечательно, что Галина Орлова в своем отзыве упрекает авторов монографии в чрезмерном акценте на «диспозитивах индустриализации и освоения Урала и Сибири». Это правда, и в нашей книге ведомственность наибольшим образом артикулируется и проявляется в условиях больших промышленных строек. Но мы также стремились обнаружить ее в деятельности партийных органов, местных советов, научных организаций, учреждений культуры, социальных служб и даже отдельных личностей. То есть ее содержание постоянно менялось в зависимости от



политического и исторического контекста и не было предопределено отраслевым принципом управления.

Вот почему ведомственный подход предлагает отказаться от заранее заданной номенклатуры ведомственности. Его задача состоит не в том, чтобы установить универсальный перечень советских явлений и институтов, которые следует считать ведомственными. Напротив, исследователь должен проследить, каким образом сами советские акторы определяли границы «ведомственного» и какие смыслы они вкладывали в это понятие. В этом отношении ведомственный подход является попыткой более серьезно относиться к принципу историзма и не переносить позднейших значений на ранние периоды советской истории.

Стараясь привлечь внимание исследователей к контекстуальным аспектам ведомственности, мы предлагаем сфокусировать аналитическую оптику посредством четырех категорий — системы, материальности, практики и дискурса. Но некоторые участники дискуссии считают, что такая исследовательская настройка выступает слабой стороной ведомственного подхода и скорее запутывает, нежели проясняет. В частности, по мнению Александра Фокина, книга рискует структурно воспроизвести ведомственность на уровне собственной формы и стать памятником ведомственности историографической. С точки зрения Галины Орловой, такая сортировка ведомственности на категории в главах самой монографии выглядит условной. Подобная критика заслуживает внимания, но, как представляется, она не вполне учитывает смысл теоретической рамки, представленной в монографии.

Ведомственный подход предлагает отказаться от заранее заданной номенклатуры ведомственности. Исследователь должен проследить, каким образом сами советские акторы определяли границы «ведомственного» и какие смыслы они вкладывали в это понятие.

Авторы книги никогда не стремились представить систему, практики, материальность и дискурс как автономные измерения советской истории. Идея ведомственного подхода строилась на предположении, что эти измерения в реальности переплетаются. Практически любое советское ведомство одновременно являлось административной системой, обладало собственной материальной инфраструктурой, воспроизводило определенный язык самоописания и формировало устойчивые

социальные практики. Эти аналитические категории нужны не для дробления исторической реальности на произвольные сегменты, а для ее комплексного объяснения, которое в то же время должно удерживать перспективу целостного понимания исследуемого явления. Иначе говоря, эвристический потенциал ведомственного подхода состоит в том, что позволяет реконструировать целостность ведомственного опыта. Увы, в монографии нам удалось сделать это лишь отчасти. Одни главы больше концентрируются на институциональной стороне ведомственности, другие — на ее материальном воплощении, третьи — на дискурсивных формах. Приоритетным направлением дальнейших поисков в этой области будет исследование того, как система управления, инфраструктура, повседневные практики и дискурсы соединялись в рамках конкретных ведомственных миров. В такой перспективе ведомственный подход способен выходить за пределы описания отдельных механизмов и действительно превращаться в инструмент анализа советского общества.

Особое место в дискуссии занимает текст Полины Гундариной. В отличие от других оппонентов, ее волнуют не абстрактные границы ведомственности, а вопрос о том, как данный подход может работать на конкретном историческом материале. В этом отношении замечания Гундариной чрезвычайно важны. Она считает правильным рассматривать ведомственность через механизмы распределения ресурсов, воспроизводства неравенства, конкуренции за финансирование, формирования лояльности и прагматические стратегии различных акторов. Иными словами, ведомственность необходимо искать в конкретных социальных практиках.

С такой проблематизацией трудно спорить. Более того, именно на ее вызов отвечает большинство эмпирических глав книги (и напомним, что одна из четырех категорий нашего подхода к ведомственности — это категория «практики»). Когда Денис Кирилук пишет о школах Свердловской железной дороги, Мария Ромашова реконструирует жизнь музея на предприятии, Михаил Пискунов — генезис трудовых коллективов, Сергей Баканов и Ольга Никонова исследуют ведомственное жилье, а Николай Байкалов анализирует города БАМа, они фактически показывают работу именно таких механизмов. Через них можно описать распределение благ, производство привилегий, лояльности и специфических социальных порядков. В этом смысле ведомственный подход действительно должен быть внимателен к конкретным практикам. Вместе с тем мне кажется важным не сводить ведомственность лишь к подобным механизмам. Если понимать ее только как совокупность практик распределения ресурсов или воспроизводства неравенства, то

ИГОРЬ СТАСЬ
СОВЕТСКАЯ
ВЕДОМСТВЕННОСТЬ
И ПРОБЛЕМА СЛОЖНОСТИ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА



мы рискуем упростить предмет исследования, который будет ограничиваться анализом функций. Ведомственность в СССР была не только способом организации материальных потоков, а одновременно выступала системой управления, формой институционального устройства, особым языком описания общественных отношений и важным элементом социальной идентификации.

В определенном смысле рассуждения о механизмах ведомственности выводят на разговор об общем методе исторического исследования. Гундарина справедливо призывает тщательнее относиться к эмпирическому материалу и не подменять его абстрактными конструкциями. Однако за подобной защитой эмпирики нередко скрывается представление о том, что задача историка состоит главным образом в аккуратном пересказе источников. Я думаю, что повышенное внимание к эмпирике и определенное отторжение аналитической теории серьезно обедняют историографию. Исторические источники никогда не говорят сами за себя, а всегда требуют концептуальной интерпретации. Сама возможность увидеть за отдельными фактами определенные социальные отношения зависит от используемого исследователем аналитического инструментария. Ведомственный подход следует понимать не как альтернативу эмпирическим исследованиям, а как попытку предложить новую перспективу их прочтения. Я убежден, что новые интерпретации могут актуализировать советскую историю только в результате постоянного взаимодействия эмпирического материала и концептуального осмысления.

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВЕДОМСТВ

Итак, одним из центральных сюжетов дискуссии стала проблематика описания советского государства через призму ведомственного подхода. В этом отношении показателен тезис Александра Фокина, который обращает внимание на ограниченность взгляда на СССР как на единого планировщика. Безусловно, советское государство хотело выглядеть именно так: партийные документы, государственные программы, планы развития экономики и публичная риторика постоянно воспроизводили образ единого субъекта, действовавшего в интересах всего общества. Но, как представляется, реальное функционирование советской системы было сложнее.

Фокин точно замечает, что ведомственный подход возвращает советской истории плотность. Долгое время советское государство описывалось через небольшое количество крупных институтов или обобщающих категорий — таких, как

центральная власть, партия, правительство, плановая система, общество и так далее. Они позволяли многое объяснить, но одновременно неизбежно упрощали историческую реальность. Ведомственный подход делает акценты на многочисленных промежуточных уровнях, где располагались десятки министерств, ведомств, главных управлений, предприятий, организаций, профессиональных сообществ и социальных групп. Как раз на этом уровне зачастую принимались решения, определявшие повседневную жизнь миллионов людей. В таком ракурсе советская история перестает выглядеть как история взаимодействия нескольких крупных субъектов, уплотняется и приобретает значительно большую сложность. При этом плотность советской истории не сводится к простому увеличению количества действующих персонажей. Суть — в восстановлении многообразия социальных отношений. Будущая задача ведомственных исследований — это детальная реконструкция тех способов, которыми ведомственные структуры производили пространства, идентичности, социальные блага, профессиональные культуры и публичные нарративы. Так что в воссоздаваемом историком пространстве между государством и обществом не должно оставаться лакун.

Одновременно с этим было бы ошибкой утверждать, что ведомственный подход противопоставляет ведомства государству, хотя иногда у читателей книги и возникает такое впечатление. Советское государство не являлось фикцией, скрывавшей за собой множество автономных организаций. Скорее книга предлагает посмотреть на само государство как на сложную систему отношений, в которой партия, советы, министерства, государственные комитеты, предприятия и различные учреждения постоянно участвовали в определении того, что следует считать государственным. Ведомственность важна как одна из форм организации этих отношений. В этом смысле мне близка предложенная Севостьяном Веселовым метафора ведомственного Левиафана. Она подчеркивает масштаб присутствия ведомств в советской истории. Вместе с тем важно помнить, что этот Левиафан не был единым организмом. Правильнее говорить не о едином ведомственном теле, а о разветвленной сети ведомственных образований, которые могли сотрудничать друг с другом, но столь же часто конфликтовать.

В этой связи необходимо уточнить одно возражение Веселова относительно интерпретации ведомственности как следствия своеобразных рыночных отношений внутри советской экономики. В своей рецензии он вменяет мне именно такое толкование. Однако в книге подобная трактовка выступает лишь как одна из возможных. Я думаю, что ведомственность следует понимать не столько как результат экономического

ИГОРЬ СТАСЬ

СОВЕТСКАЯ
ВЕДОМСТВЕННОСТЬ
И ПРОБЛЕМА СЛОЖНОСТИ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА



обмена или конкуренции за ресурсы, сколько как особую форму социальных и институциональных отношений, сформированных организациями, обладавшими правом управлять определенными сферами общественной жизни. В данном тексте я спонтанно назвал это «ведомственным миром».

Здесь стоит сказать и об изучении неравенства в СССР в контексте ведомственного подхода, о чем справедливо пишет Полина Гундарина. Действительно, принадлежность к различным ведомственным структурам во многом определяла доступ людей к жилью, образованию, медицинскому обслуживанию, культурной инфраструктуре, санаторному лечению и другим благам. Через ведомственную рамку подобные различия в повседневной жизни советских граждан могут стать заметнее историкам. В то же время мне не хотелось бы превращать изучение советской ведомственности в историю советского неравенства. Советское общество не было полностью однородным; ведомственный подход видит существование различий и фиксирует институциональные механизмы их производства, но я бы не упрощал его до анализа функций, связанных с распределением ресурсов. Повторюсь, исследовательский потенциал в первую очередь связан с изучением социальных ведомственных миров — с их специфическими формами принадлежности, лояльности и коллективной идентификации.

Ведомственность следует понимать не столько как результат экономического обмена или конкуренции за ресурсы, сколько как особую форму социальных и институциональных отношений, сформированных организациями, обладавшими правом управлять определенными сферами общественной жизни.

Наиболее принципиальное расхождение тут — это расхождение с позицией Михаила Михеева. Его рецензия во многом продолжает традиционную интерпретацию ведомственности как преимущественно вертикальной системы отраслевого управления. Также в качестве своеобразной альтернативы ведомственности Михеев выдвигает понятие «регионализм». Я вижу здесь значительную методологическую нестыковку. В советском языке существовало собственное обозначение подобных практик — местничество. К тому же ведомственность и местничество в большинстве случаев артикулировались совместно, как общая проблема. Они рассматривались как

различные формы нарушения государственных интересов и противопоставлялись идеалу управления, ориентированного на благо всего государства. По моему мнению, не вполне продуктивно жестко разделять и чуть ли не противопоставлять эти явления. В советском публичном дискурсе одно и то же действие в зависимости от контекста могло быть определено как в терминах ведомственности, так и местничества. Все зависело от того, какая перспектива использовалась современниками для описания ситуации.

В конечном счете, несогласие с Михеевым возвращает нас к проблеме сложности советского государства. Историки по-прежнему слишком часто описывают СССР через ограниченное число акторов — государство, партию, регионы или ведомства. Так, Михеев анализирует историю управления промышленностью в рамках дихотомии «центр—регионы», которая иногда дополняется нарративом о противостоянии ведомств и регионов. При этом содержательно Михеев соотносит регионы с партией, так что более точно было бы говорить не об оппозиции ведомственности и регионализма, а о партийной антиведомственной политике, которая активно проявлялась на региональном уровне (см. в частности, примеры Михеева с Ленинобкомом и Уралобкомом). С моей точки зрения, стоит отойти от простых бинарных объяснений, а историкам в описании СССР нужно показывать советское государство как сложную систему отношений.

ИГОРЬ СТАСЬ

СОВЕТСКАЯ
ВЕДОМСТВЕННОСТЬ
И ПРОБЛЕМА СЛОЖНОСТИ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

ВЕДОМСТВЕННОСТЬ КАК ГУВЕРНАМЕНТАЛЬНОСТЬ

Именно поэтому в книге столь важное место занимает фукольдская оптика в изучении практик управления: ведомства были административными структурами, которые воспроизводили отношения власти и знания. Они обладали знаниями о территориях, отраслях экономики, социальных группах и различных объектах управления. Одновременно они создавали устойчивые властные механизмы идентификации, через которые люди связывали себя с определенными организациями. Пересечение практик управления, знания и идентификации как раз и образовывало тот тип отношений, который в книге называется ведомственностью. Вместе с тем я согласен с критикой Галины Орловой, посчитавшей, что в монографии потенциал анализа ведомственности через знание остался нереализованным и «ключевой эпистемологический момент» превратился в «этимологическую виньетку», в то время как фукольдская операционализация требует более серьезного эпистемологического разъяснения. По ее мнению, проблема состоит в том,



что я, как редактор монографии, работал в «промежуточном жанре» и разрывался между фукольдianским осмыслением и традиционной институциональной историей.

Орлова пронизательно отметила этот момент, но, в отличие от нее, я все же не склонен усматривать в феномене ведомственности только проблематику советской гувернаментальности и технологий управления. Я убежден, что суть ведомственных отношений не может быть окончательно понята без анализа системных иерархий и конфликтов, материальных инфраструктур и повседневной жизни. Они актуальны сами по себе и могут быть раскрыты в качестве систем отношений власти в логике обычной институциональной истории. Хотя, без сомнения, истолкование ведомственности как возможного типа советской гувернаментальности выступает ключевым исследовательским вопросом. Сейчас для меня он звучит следующим образом: являлась ли ведомственность особой практикой или технологией управления, которая при этом обладала дискурсивной рационализацией? То есть — была ли ведомственность одним из типов советской (или даже социалистической) гувернаментальности? Существовала ли в СССР, как выразилась Орлова, организационная гувернаментальность?

Кажется, сама Орлова отвечает на этот вопрос положительно. В книге же, наоборот, показано, что ведомственность не была самостоятельной гувернаментальностью, а являлась частью гувернаментальной рационализации государства и административного аппарата. Чтобы понять, была ли ведомственность особым отношением знания и власти, порождающим специфическую практику управления и тип рациональности этого управления, исследователи должны изучать ведомственную риторику и дискурсы. Признаю, что в монографии об этом почти ничего не говорится, хотя перспектива такого разговора намечена. Я также поддерживаю тезис исследовательницы, что необходимо определить другие возможные «дискурсивные соседства» ведомственности, не только государственные интересы. Вероятно, ведомственность все-таки обладала особенной гувернаментальностью и выступала альтернативой государственной рациональности, доминировавшей в СССР. Сегодня интуитивно я нахожу это утверждение верным, но исследовательский вопрос остается открытым: смогут ли историки в многообразии ведомственных риторик и дискурсов отыскать доказательства особой рационализации управления или же только подтвердят, что ведомственное было частью процесса гувернаментализации государства и его интересов? Дело за будущими исследованиями советских ведомств.

Александр Фокин справедливо указывает на еще одну проблему в изучении ведомственных дискурсов: язык ведомств

преимущественно состоял из статистики, отчетности, плановых показателей и различных способов количественного описания окружающей действительности. Любой исследователь, работавший с делопроизводственной документацией советских министерств, предприятий или главных управлений, неизбежно сталкивался с этим языком цифр. Через отчеты, таблицы, показатели и статистические сводки ведомства описывали и конструировали реальность, оценивали собственную деятельность

ИГОРЬ СТАСЬ
СОВЕТСКАЯ
ВЕДОМСТВЕННОСТЬ
И ПРОБЛЕМА СЛОЖНОСТИ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

**Суть ведомственных отношений не может быть
окончательно понята без анализа системных
иерархий и конфликтов, материальных
инфраструктур и повседневной жизни.**

и обосновывали управленческие решения. Понимая эту особенность источников, я все же считаю, что историки не должны ассоциировать ведомственный дискурс только с подобными сухими текстами. Когда исследователи говорят о ведомственности через показатели, планы и отчетность, они зачастую пишут о советских организациях как сугубо бюрократических структурах. Но ведомства производили и другие формы публичной репрезентации — журналы, газеты, книги, музеи, юбилейные издания. Через эти каналы ведомства рассказывали обществу о себе — о своих достижениях и своей миссии. Многие советские министерства, предприятия и организации активно занимались тем, что сегодня можно было бы назвать брендингом, публичным сторителлингом или мягкой силой.

Идентичность между государственным и ведомственным

Проблема производства публичных репрезентаций ведомств о самих себе напрямую соотносится с феноменом ведомственной идентичности. Как редактор монографии, я пытался заострить проблему конструирования ведомствами коллективных идентичностей. Ведомственность была способом самоописания, способом символической организации социальных отношений и способом формирования чувства принадлежности к определенным институциональным сообществам.

Например Полина Гундарина говорит о сходстве ведомственной идентичности и того, что исследователи индустриальных обществ обычно называют заводской идентичностью. Для миллионов советских граждан предприятие не только служило местом работы, но и определяло доступ к жилью, социальным



услугам, культурной жизни, образованию детей, организации досуга и так далее. Галина Орлова верно подчеркивает, что следствием специфической формы власти ведомств, вынужденных заботиться о населении (опять стоит упомянуть важность концептуализации гувернаментальности и биополитики), являлось создание производственно-коммунальных инфраструктур.

В результате люди ассоциировали себя не только с профессией, городом или социальной группой, но и с конкретной организацией. Они могли воспринимать ее достижения как собственные успехи и защищать ее интересы. В СССР механизмы идентификации приобретали особое значение благодаря огромной роли ведомственных структур в организации повседневной жизни. Орлова правильно указывает, что фокус ведомственного подхода настроен на идентичность конкретных работников, а не на идентичность институтов, что было свойственно для прежней историографии. Данное измерение ведомственности в самой книге было отражено лишь частично. Авторы монографии значительно больше внимания уделили вопросам управления, инфраструктуры и социальных практик. Между тем исследование ведомственных идентичностей на личностном уровне открывает весьма перспективное направление дальнейшей работы — особенно это касается изучения того, как ведомства формировали чувства коллективной принадлежности и как люди сами интерпретировали свою связь с этими организациями.

Севостьян Веселов также подсвечивает важную тему двойной идентичности советских партийных руководителей. Традиционно партийные кадры описывались как носители общегосударственных интересов и представители единой политической линии, но в реальной практике многие из них одновременно были тесно связаны с конкретными хозяйственными сферами, отраслями экономики или управленческими структурами. Их политические биографии зачастую строились внутри определенных ведомственных миров, а партийная идентичность далеко не всегда исключала ведомственную. Партийный руководитель мог искренне считать себя проводником интересов государства и одновременно активно поддерживать развитие той отрасли, с которой была связана его карьера. Переплетение различных форм идентичности также раскрывает советскую политическую элиту как сложное образование.

В этой связи интересно суждение Веселова о фигуре Феликса Дзержинского. В монографии его образ использовался как один из символов большевистской рационализации государственных интересов. Однако Веселов подчеркивает, что исторический Дзержинский был значительно многомернее идеологического образа, тиражируемого советской культурой, — защитника

интересов советского государства. Как выясняется, ведомственный партикулярный интерес не был чужд и ему. Вместе с тем для меня по-прежнему остается важным рассматривать личность Дзержинского не столько как реального ведомственного и государственного управленца, сколько как мифологическую фигуру, которая впоследствии стала полностью ассоциироваться с идеальным образцом «государственника», противопоставленного различным формам ведомственного эгоизма.

Таким образом, вопросы о ведомственных дискурсах и идентичностях вновь выдвигают на первый план проблему сложности советского государства. Изучая советскую ведомственность, исследователи все чаще обнаруживают, что оно существовало не только в форме управленческих структур и нормативных актов, а постоянно воспроизводилось через многочисленные идентичности и языки самоописания, создававшиеся различными организациями и учреждениями. Каждый из этих языков по-своему объяснял место конкретного ведомства в общей структуре государства и одновременно претендовал на участие в определении государственных интересов. Чем внимательнее историк относится к этим многочисленным ведомственным дискурсам и идентификациям, тем труднее становится говорить о Советском Союзе как о едином и однородном субъекте истории.

ИГОРЬ СТАСЬ

СОВЕТСКАЯ
ВЕДОМСТВЕННОСТЬ
И ПРОБЛЕМА СЛОЖНОСТИ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

